

М.М. Сафонов

**Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская
по «Запискам» Екатерины II**

5 ноября 1796 г. Екатерину II сразил апоплексический удар. К исходу следующего дня, не приходя в сознание, императрица скончалась¹. Почти четверть века она работала над автобиографическими записками. Они должны были увековечить образ Екатерины в памяти потомков. Внезапная кончина сорвала этот замысел. Точнее говоря, не позволила осуществить его так, как задумала императрица. И не потому, что неожиданная кончина помешала окончить многолетний труд. Просто апоплексия, сразившая Екатерину в то ноябрьское утро, не позволила императрице подготовиться к смерти. Она была уверена, что у нее еще есть время. Если бы государыня хотела остаться в памяти потомков такой, какой она описала себя в «Записках», она была должна уничтожить черновики и подготовительные материалы. Сама того не желая, она оставила ценнейший материал для опровержения того, что в конце концов написала о себе.

Екатерина создала две редакции «Записок». И они очень существенно отличаются друг от друга. Первая редакция относится к началу 1770-х гг.² Работа над второй редакцией протекала в середине 1790 гг. (201–461).

Обе редакции «Записок» столь сильно разнятся, что может даже сложиться впечатление, будто бы они написаны разными людьми. В них созданы два совершенно разных образа автора мемуаров, т.е. Екатерины.

В первой редакции Екатерина II старается создать образ довольно непосредственной девушки, очень живой и энергичной, а главное, от политики бесконечно далекой. Это очень чистое и политически совершенно девственное создание, почти ребенок³.

Ей противостоит Большой двор во главе с императрицей Елизаветой Петровной, женщины грубой, капризной, жестокой, деспотичной. Она является главным антигероем первой редакции «Записок». Именно в ее личности кроются все злоключения и неприятности, которые пришлось перенести Екатерине⁴.

Совсем иной предстает Екатерина во второй редакции. Это кристально чистое в нравственном отношении существо с мужским умом и характером, и в то же время с очаровательной женской внешностью, «благородный рыцарь», единственными жизненными побуждением ко-

того всегда были «самая строгая честность и добрая воля». Это вполне взрослый человек, «философ в пятнадцать лет», развитый не по годам⁵.

В первой редакции мемуаров противостояние двух дворов — Малого и Большого, конфликт возрастов: пожилых раздражает живость и подвижность молодежи. В то же время это столкновение прихоти, капризов, самодурства взрослых с детской непосредственностью юношества.

Во второй редакции «Записок» конфликты двух дворов представлены по-иному. Императрица не столько капризный самодур, а скорее добрая и ласковая женщина, относящаяся к своей невестке с большой симпатией и даже любовью. Однако главной причиной, из-за которой Малый двор подвергается все возрастающим преследованиям, является безрассудное, иногда нелепое, а порой просто безобразное поведение мужа Екатерины Петра, его откровенно хулиганские выходки, которые не могут не влечь за собой справедливого наказания. Именно он порождает конфликты Большого и Малого дворов⁶.

Таким образом, в первой редакции антиподами являются императрица Елизавета и великая княгиня Екатерина⁵. Деспот и ее жертва. Для того чтобы изобразить свою невинность, Екатерина не жалеет черных красок, рисуя отвратительный образ Елизаветы. При этом каждый пассаж о самодурстве государыни, как правило, сопровождается повествованием о несправедливом преследовании невинной девушки. Одним словом, чем безобразнее выглядит императрица, тем выигрышнее смотрится ее невестка. Обличение Елизаветы — это прием для самооправдания Екатерины.

Совсем иной прием применен во второй редакции. Здесь антиподами являются Петр и Екатерина. Главный «злодей» — великий князь. Именно он основной источник зла. Петр как бы заимствует у Елизаветы, изображенной теперь довольно-таки привлекательно, образ антигероя. Изображая мужа нравственным и физическим уродом, Екатерина тем самым стремилась реабилитировать себя самое.

Очевидно, и Елизавета Петровна, и Петр III являются лишь аксессуарами автопортрета самой Екатерины. Поскольку в двух редакциях мемуаров представлены разные автопортреты, то и роль аксессуаров также различна. Это следует сказать и об образе матери мемуаристки, Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской, нарисованном в двух редакциях по-разному. Небезынтересно сопоставить, как она представлена в различных редакциях и проследить, с помощью каких приемов, обрисовывая мать, Екатерина создала свой образ, ставший затем каноническим⁷.

Первая редакция начинается с изложения детства Екатерины. Вторая же — с описания приезда Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской

с дочерью в Петербург. Благодаря этому представляется возможным провести сопоставление текстов, посвященных пребыванию принцессы Ангальт-Цербстской в России. Поскольку одни и те же эпизоды описаны дважды, то сопоставление фрагментов позволяет выявить определенные тенденции, которыми руководствовался автор мемуаров.

В первой редакции Екатерина подробно описала, как она опасно заболела сразу же по приезде в Россию, из-за чего сватовство с великим князем Петром Федоровичем чуть было не расстроилось. «На десятый день нашего приезда в Москву, — пишет Екатерина, — мы должны были пойти обедать к великому князю. Я оделась и, когда уже была готова, со мной сделался сильный озноб; я сказала об этом матери, которая совсем не любила нежностей; сначала она подумала, что это ничего; но озноб так усилился, что она первая посоветовала мне пойти лечь. Я разделась, легла в постель, заснула и настолько потеряла сознание, что не помню почти ничего из происходящего в течение двадцати семи дней, пока продолжалась эта ужасная болезнь» (41–42).

Как видим, мать Екатерины, несмотря на то что нежностей не любила, тем не менее проявила заботу о дочери и посоветовала ей лечь в постель. Важно отметить, что в первой редакции о причинах болезни девочки ничего не говорится. Подразумевается, что она просто простудилась в новом месте с более суровым, чем в Германии, климатом.

Во второй редакции этот эпизод представлен уже по-иному. Екатерина простудилась из-за своего усердия в изучении русского языка, т.е. ее болезнь представлена как следствие ее желания быть настоящей русской. Это — уже некая жертвенность. «Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые мне оставлял Адауров (учитель русского языка. — М.С.); так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то не обувалась — как вставала с постели, так и училась. На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла <...> в ту минут, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель» (210). Ранее, в первой редакции, сама мать посоветовала больной дочери лечь в постель. Теперь же дочь, героиня-мученица, с трудом получает позволение от недалекой матери.

Поведение этой женщины во время болезни дочери под пером мемуаристки выглядит более чем красноречиво. В первой редакции говорится о том, что врач сразу же установил, что «это был явно выраженный плеврит; но он не мог убедить мать, чтобы она разрешила пустить кровь». Иоганна Елизавета думала, что у дочери оспа. Екатерина долго

оставалась без врачебной помощи, пока в дело не вмешалась императрица Елизавета и не настояла на том, чтобы в ее присутствии девочке пустили кровь. Девочка пришла в себя и заметила, «что мать была тоже очень опечалена» (42). После выздоровления «императрица, великий князь и по их примеру весь двор оказывали всяческие знаки внимания как матери, так и» Екатерине. Однако, несмотря на заботливое отношение Иоганны Елизаветы к дочери, болезнь девочки очень повредила матери в общественном мнении. Придворная группировка во главе с вице-канцлером А.П. Бестужевым попыталась использовать это в своих целях. Эти люди «уже тогда постарались повредить матери в глазах императрицы; это было очень легко, так как она от рождения склонна была с ревливой подозрительностью относиться ко всем женщинам, против которых она не была достаточно на стороже. Ей объяснили как недостаток привязанности ко мне отвращение матери к тому, чтобы мне пустили кровь, а в действительности это было следствием боязни. Чтобы лучше узнать правду и под предлогом гораздо большего ухода императрица приказала графине Воронцовой поместиться с нами. Когда мне пускали кров, Лесток запирали двери на задвижки, и мне пускали кровь в два приема четыре раза в течение суток; мать, которая была очень чувствительна, не могла видеть этого без огорчения, когда она хотела войти в эти минуты, ей говорили, что императрица просила ее оставаться у себя в комнате; из-за этого она, в свою очередь, стала досадовать и подумала, что все сговорились держать ее вдали от дочери. К этому прибавились еще разные мелочи и сплетни кумушек, которые ухудшали дело. Например, в период моего выздоровления, около Пасхи, мать, потому ли, что не могла найти богатых материй по своему вкусу, или потому, что ей нравился принадлежавший мне кусок материи, пришла попросить его у меня в присутствии графини Румянцевой; в том состоянии слабости, в каком я была и еще не вполне свободно владея своими пятью внешними чувствами, я проявила некоторое желание сохранить материю, потому что я получила ее от дяди, брата отца, хотя и уступила ее матери; это передала императрице, которая прислала мне две великолепные материи того же цвета и очень была недовольна матерью за то, что она, как говорили, без осторожности причинила огорчение почти умирающей. Мать, в свою очередь, почувствовала, что ее злят и разобиделась» (43).

В этом фрагменте Иоганна Елизавета представлена любящей матерью, желающей дочери только добра, как она его сама понимала. Следует особо подчеркнуть тот факт, что все «промахи» матери используются ее врагами, для того чтобы посеять рознь между российской императрицей и Ангальт-Цербсткой принцессой. Это удалось отчасти благодаря

личным качествам Елизаветы Петровны: подозрительная императрица легко верила клевете, в то время как невинная мать Екатерины стала в некотором роде жертвой этих наветов.

Во второй редакции говорится о том, что, когда дочери стало плохо, мать все же пошла обедать к великому князю. «Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собой. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль <...> Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы. Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли» (210–211). Когда Екатерина пришла в себя, она тотчас заметила, что поведение матери во время ее болезни «повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, — писала мемуаристка, — она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: “Зачем же? Пошлите лучше за Семеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю”. Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мною, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора» (211).

В этом фрагменте мать Екатерины представлена взбалмошной и жестокой женщиной: не только своими капризами мешала докторам спасать свою дочь, но еще бранила ее за то, что она стонала от боли. Естественно, это встретило осуждение двора. Но более того, в то время как умная дочь демонстрировала приверженность к своей будущей религии — православию, недалекая мать чуть не повредила ей, призывая лютеранского пастора. Какая разница между матерью и дочерью! А главное, неприязненное отношение императрицы к Иоганне Елизавете вполне оправдывается теперь автором мемуаров, тогда как раньше

оно осуждалось. Кроме того, в подтверждение справедливости такого отношения двора к матери Екатерина приводит еще один факт. «Другое очень ничтожное обстоятельство очень повредило матери. Около Пасхи, однажды утром матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю скрепя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели [находясь] между жизнью и смертью и что мне стало лучше всего дня два, стали между собой говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило матери в глазах императрицы: ее обвинили в том, что у нее вовсе нет ни нежности ко мне, ни бережности» (212).

Этот случай приводится в первой редакции в качестве примера того, как императрицу несправедливо настраивали против матери Екатерины. Здесь же читателю недвусмысленно дается понять: мать поступала нехорошо и получила вследствие этого заслуженное осуждение. Эффект достигается с помощью утрированного описания болезненного состояния дочери. Подчеркивается, больной ребенок не хотел расставаться подарком дяди, насколько же нелепо было требовать его у девочки, находящейся почти при смерти.

Одного этого фрагмента достаточно, чтобы вызвать у читателя неприязнь к матери автора.

В первой редакции приводится ряд фактов, иллюстрирующих одну из главных мыслей мемуариста: императрицу Елизавету намеренно ссорили с матерью. Сама же мать в этом несколько не была виновата. Все это — дело рук недоброжелателей Ангальт-Цербстской принцессы.

«Мать возымела доверие, — пишет Екатерина, к Бецкому, который сблизил ее с принцем и принцессой Гессен-Гомбургскими. — Это сближение не понравилось многим, а особенно графу Лестоку и обер-гоф-маршалу великого князя Брюммеру, который вызвал мою мать в Россию, но еще более графине Румянцевой, очень вредившей моей матери в глазах императрицы. Ссору раздувал тогда повсюду граф Бестужев, применявший отвратительное правило — разделять, чтобы повелевать. Ему отлично удавалось смущать все умы; никогда не было меньше согласия и

в городе, и при дворе, как во время его министерства; в конце концов, он стал жертвой собственных происков, что случается обыкновенно с людьми, которые больше опираются на свои интриги, чем на чистоту нравов и честность приемов» (44). Чуть ниже Екатерина пишет, что императрица с некоторых пор, по-видимому, сердилась «на мою мать» (46).

Во второй редакции уже констатируется: у матери «было много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги собирались у нас; в их числе был маркиз де ла Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные грамоты в кармане» (213).

Известный эпизод высылки Шетарди, в которой оказалась скандально замешана и мать Екатерины, в обеих редакциях рассказан различно. В первой редакции мать Екатерины представлена вполне невинной жертвой непорядочности Шетарди, ей-то и воспользовался недоброжелатель Иоганна Елизаветы А.П. Бестужев.

В Троицком монастыре Ж.-Г. Лесток вошел в комнату матери и сообщил ей, что она может укладывать вещи и отправляться из России. На вопрос матери, откуда исходят эти предложения, он разъяснил, что «императрица в величайшем гневе на нее». Шетарди арестован и выслан, в его бумагах «нашли улики против моей матери, которая тяжело оскорбила императрицу». Мать попросила Лестока о встрече с императрицей, чтобы перед отъездом узнать, в чем именно ее обвиняют. Встреча с глаза на глаз продолжалась довольно долго. После нее императрица и мать вышли «обе совсем красные от этого разговора. Мать плакала, она думала, что успокоила императрицу; но последняя не так легко забывала и никогда не возвращала матери своей привязанности; к тому же было слишком много людей и вещей, которые отдаляли их одну от другой» (46). Оказалось, что Шетарди, обиженный на русский двор, писал своему двору, «не стесняясь ни относительно выражений, ни относительно лиц; он думал, что будет управлять императрицей и делами, но ошибся; он писал языком злым и язвительным, он говорил в этом духе и с моей матерью, с которой он держал себя как старый знакомый; она смеялась, сама острила и поверяла ему те поводы к неудовольствию, которые, как ей казалось, она имела; между ними шли эти пересуды, которые не передаются дальше, как это водится между порядочными людьми; де ла Шетарди обратил их в сюжеты для депеш своему двору; его письма были перехвачены вице-канцлером Бестужевым, шифр разобран, все передано императрице; де ла Шетарди арестован и отвезен за границу, а императрица доведена до страшного гнева против матери.

Всем этим был доволен только граф Бестужев, потому что ему удалось еще больше смешать карты» (47–48).

Одним словом, мать опять представлена жертвой неосторожности французского дипломата, происков вице-канцлера, «страшного гнева» злопамятной императрицы.

Совсем по-иному эта ситуация выглядит во второй редакции. Здесь рассказывается о том, что Шетарди был постоянным участником тех пересудов, которые велись в обществе матери, состоявшем из лиц, которые не нравились Бестужеву. «Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были наполнены самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения, мало осторожные. Граф Бестужев не преминул вручить их императрице». Шетарди был выслан. «Не знаю, удалось ли оправдаться матери в глазах императрицы, но как бы то ни было, мы не уехали; с матерью продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между ней и де ла Шетарди, но знаю, — пишет Екатерина, — что однажды, когда она выразила желание во всем угождать императрице, Шетради перестал общаться с девочкой» (213–215).

Совершенно очевидно, в этой редакции Екатерина дает понять, что мать действительно виновна, а императрица поступает справедливо. Особенно важно то, что, описывая этот эпизод, Екатерина резко противопоставляет свое поведение поведению матери. Она-то желает угодить императрице, когда мать поступает прямо противоположным образом. Эта тенденция особенно ярко проявляется в том, как вводится этот эпизод. В первой редакции Лесток сообщает матери и дочке, что придется покинуть Россию. Во второй редакции появляется сама Елизавета, Екатерина же со своим женихом, сидя на подоконнике, ожидают исхода разговора императрицы и Иоганны Елизаветы. Когда императрица вышла «с лицом очень красным и с видом разгневанным», дети попытались спуститься с высокого подоконника, это вызвало улыбку у императрицы. Она подошла, поцеловала обоих и ушла, в то время как «мать шла за нею с красными глазами и в слезах» (214). Этот поцелуй-индальгенция должен был четко отделить отношение императрицы к невинному ребенку от отношения к преступной матери.

В первой редакции рассказывается о том, что после обручения Екатерина получила титул великой княжны и императорского высочества. «С того дня я шла впереди матери, — говориться в мемуарах, — признаюсь, я этого избегала, насколько могла, и мне стали целовать руку; многие делали то же и матери, но были иные, не делавшие этого, между

прочим, граф Бестужев. Мать приписывала это недоброжелательству с его стороны, и это увеличивало предубеждение, которое ей внушили против него» (50–51).

Во второй редакции после рассказа об обручении помещен следующий пассаж, обличающий недалёковидность Иоганны Елизаветы и подчеркивающий непричастность девочки к проделкам матери. «В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими и еще больше с братом последней, камергером Бецким. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюмеру и всем остальным; в то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении; у нас не было недостатка в ребяческой живости» (215). Заметим, что упоминание о «ребяческой живости» должно было подчеркнуть, что подросток Екатерина не имела никакого отношения к козням матери.

В первой редакции так описана распря между взрослыми, которая возникла во время путешествия в Киев. Великий князь ехал в своей карете вместе со своими педагогами, Екатерина — в своей, с матерью и окружавшими ее взрослыми лицами. «Великий князь, скучавший в своей карете с педагогами, захотел поехать с матерью и со мною и приглашал четвертым кого-нибудь из кавалеров своей свиты. Большею частью это были либо князь Голицын, либо граф Чернышев, мои кавалеры, которые были тогда такие же живые и ветреные, как и мы. Матери, в свою очередь, было скучно одной с троими детьми во время такого длинного путешествия и, чтобы всех удовлетворить, она выдумала взять одну из повозок, которые были с нашими постелями; она велела положить туда доски и подушки, так что на них могли усестись от восьми до десяти человек. Когда эта повозка была готова, мы не хотели больше ее покидать и кроме матери, великого князя и меня туда сажали только того, кто мог всего больше нас позабавить и развлечь, и с утра до вечера мы то и дело смеялись, играли и резвились; но так как графиня Румянцева, Брюмер, Берхгольц и Каин никогда туда не допускались, то они очень разобиделись, порицая, критикуя и ворча из-за всего, что мы делали. Они ехали все четверо в одной карете, где, между тем как мы забавлялись, они взаимно поддерживали дурное расположение духа, разжигая друг друга на наш счет. Наша повозка это знала, но ни во что не ставила» (52).

Во второй редакции история с повозкой описан примерно так же (216). Однако ей придан различный смысл благодаря следствиям, которые она повлекла за собой. Согласно первой редакции, по возвращении в Москву «заметили, что у старой графини Румянцевой начались частые беседы с императрицей и что последняя была очень холодна с матерью, и легко

было догадаться, что Румянцева вооружала императрицу против матери и внушала ей ту злобу, которую сама питала с поездки в Украину ко всей повозке, о которой я говорила выше; если она не делала этого раньше, так потому, что была слишком занята крупной игрой, которая продолжалась до тех пор и которую она бросала всегда последней, но когда эта игра кончилась, ее злость не знала удержу» (57). Далее Екатерина сообщает, что была бесхитростна, привязалась ко второй дочери Румянцевой, часто спала с ней в одной комнате, где они все ночи напролет устраивали детскую возню. Румянцева знала об этом, но, тем не менее, она не оставилась перед тем, чтобы оклеветать молодую Екатерину; «одерживало верх желание сделать себя необходимой». В результате однажды в театре после оживленного разговора с императрицей Лесток вошел в ложу, где находилась мать Екатерины с дочерью, и сделал от имени Елизаветы Петровны строгий выговор обеим за то, что у них были большие долги. Екатерина извинялась, как могла, она пыталась объяснить, что получала еще половину суммы, назначенной на ее содержание. Читателю же Екатерина разъяснила, что постоянно делала подарки матери, Румянцевой, великому князю и множеству других людей. Она считала невозможным не подарить человеку вещь, если она ему нравилась. Это и ввело ее в долги, которые она обещала выплатить (58).

Таким образом, невинная проделка матери с повозкой во время путешествия привела к тому, что восстановленная против нее обиженной Румянцевой императрица обвинила Иоганну Елизавету в том, что она вместе с дочерью наделала огромных долгов.

Во второй редакции сцена в театре никак не связана с историей с повозкой. Гнев Елизаветы вызван недальновидным поведением матери. В Москве, рассказывает Екатерина, несмотря на постоянные увеселения, «заметно было, что императрица была часто не в духе». Далее излагается сцена в театральной ложе. Особо подчеркнут гнев императрицы. Однако в этой редакции Лесток выбрал лишь Екатерину за ее личные долги, тогда как ранее речь шла о долгах матери и дочери. Характерно и то, как во второй редакции представлено поведение Иоганны Елизаветы. «Что касается матери, то, когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук и что, так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашивая ее, она умывает руки в этом деле; и так оба они стали против меня» (219). «Оба», потому что вторым был великий князь, так же занявший сторону императрицы.

Описывая источники своих долгов, Екатерина поместила среди них и такой: «Дурное расположение духа матери происходило отчасти по

той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала. Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла перед ней; я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно; вообще я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и невозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало; у нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка во время поездки в Киев тоже сделала свое дело: все старики были из нее изгнаны, вся молодежь допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень, впрочем, невинному; всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению и которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее. В сущности, вся эта досада матери пошла от того, что не взяли с собою во время киевской поездки ни Бецкого, к которому она прониклась доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому подействовал Брюмер и графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы» (220).

Читая этот пассаж, следовало умилиться: какая замечательная во всех отношениях дочь и какая недалекая мать, ограниченная и эгоистичная женщина, предающая свое чадо в тяжелой ситуации.

Взбалмошность матери особенно четко просматривается в эпизоде со шкатулкой. В первой редакции говорится о том, что во время путешествия в Козельце «мать сделала <...> очень горячую сцену великому князю». Сцена не имела последствий, но она оставила глубокий след. Мать писала в своей комнате, перед ней стояла шкатулка с драгоценными вещами, туда она клала свои письма. Петр Федорович, будучи очень живым от природы, прыгая, задел шкатулку и опрокинул ее на пол, хотя мать просила ее не трогать. Она решила, что он сделал это нарочно. Петр извинялся, его извинения не были приняты, и он, в свою очередь, рассердился. Когда Екатерина вошла в комнату, великий князь сразу обратился к ней, настаивая на своей невинности. Екатерина, оказавшись между двух огней, молчала. Это молчание рассердило обоих. Мать подулась немного и перестала. Оставшись наедине с Екатериной, великий князь рассказал, как все было в действительности. Екатерина знала, «как вспыльчива была мать и в особенности как резко были первые проявления этой вспыльчивости». Поэтому она поверила своему жениху.

Но после этой сцены «у великого князя и у матери осталось в душе взаимное недоверие, которое с тех пор все росло» (55).

Понятно, мемуаристка пытается объяснить, что враждебность между Петром Федоровичем имела не политическую, а бытовую подоплеку, возникшую из-за нелепого взаимного недоразумения.

Во второй редакции акценты расставлены по-другому. Петр Федорович пожелал из любопытства порыться в открытой шкатулке, мать просила не трогать ее. Но, желая рассмешить невесту, великий князь случайно уронил шкатулку. «Они стали крупно браниться». Мать обвиняла его в том, что он сделал это нарочно. Петр оправдывался и жаловался на несправедливость этого обвинения. Обратились к Екатерине. «Зная нрав матери», она «боялась получить пощечины», если с ней не согласиться. Тем не менее, не желая лгать, Екатерина заявила, что великий князь сделал это случайно. «Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бранить». Девочка заплакала. Петр обвинил мать в несправедливости «и назвал ее гнев бешенством». Сцена чуть была не дошла до драки. «С тех пор великий князь невзлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры; мать тоже не могла этого ему простить; и их обхождении друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня; сколько я не старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок; они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга; мое положение день ото дня становилось щекотливее. Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и, действительно, великий князь был со мной тогда откровеннее, чем с кем-либо; он видел, что мать часто насакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убеждался, что может быть во мне уверен» (217–218).

Сравнение этих двух описаний одного эпизода не оставляет сомнений: во второй редакции Екатерина рисует мать черными красками, и это составляет чрезвычайно выгодный фон для дочери.

Вот как рассказывается в обеих редакциях о новых дворцовых покоях. В первой говорится: «Как только мы с матерью приехали в Петербург и как только мать увидела, что императрица распорядилась, чтобы у нее были отдельные от моих покои, она вообразила, что это делалось, чтобы удалить ее от меня <...> правда, в Москве мать помещалась со мною в одном и том же ряду комнат и я спала рядом с ее комнатой, между тем как здесь у меня были совсем отдельные покои. Это распределение покоев огорчило и раздосадовало мать» (60).

Во второй же редакции читаем: «Как только мать увидела это устройство, она рассердилась, во-первых, потому что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее, во-вторых, потому, что ее комнаты отделялись от моих общей залой; на самом же деле <...> комнаты были одинаковые <...> без всякой разницы». Еще более способствовало ее гневу то обстоятельство, что еще в Москве Румянцева принесла Екатерине план покоев, советовалась с ней относительно его и от имени императрицы запрещала посвящать мать в это дело. Елизавета хотела, чтобы Екатерина жила отдельно от матери. Кроме того, такое устройство нравилось Екатерине еще оттого, что «буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно, как день, что эта компания никому не была по душе. Мать провела о плане, показанном мне; она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бранить меня за то, что я держала это в секрете, я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, и вообще я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней три-четыре раза в день, остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине да покупать себе книги, так что в пятнадцать лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста» (222–223).

Как разителен контраст между матерью и дочерью. Сравнение, разумеется, в пользу ребенка.

Отвратительно выглядит мать и в следующей сцене. «Однажды утром, около десяти часов я пошла к матери и нашла ее без сознания, распростертой на матрасе на полу посреди комнаты. Ее женщины бегали туда-сюда, граф Лесток был возле нее и казался сильно смущенным. При входе я вскрикнула и хотела узнать, что с ней случилось; с большим трудом я узнала, что она из предосторожности хотела пустить себе кровь, что когда хирургу не удалось сделать кровопускание ни на одной руке, он захотел сделать это на ноге, но благодаря своей неловкости он не сделал этого ни на той, ни на другой. Мать боявшаяся, впрочем, кровопускания, упала в обморок и долго мучились, чтобы привести ее в чувство. Я послала всюду за докторами и хирургами; наконец она очнулась, и они приехали уже после. Когда мать пришла в себя, она приказала мне идти в свою комнату; тон и вид, с которыми она мне это сказала, дали мне понять, что она была сердита на меня; я сильно плакала и повиновалась ей после того, как она повторила свое приказание. Я обратилась к

м-ле Каин, чтобы узнать причину гнева матери, которую напрасно старались отгадать. Каин мне сказала: “Я ничего об этом не знаю, она и на меня сердится с некоторых пор”. Я просила ее постараться узнать то, что меня касалось; она мне обещала это и прибавила: “Люди, которые ее окружают, слишком много вбивают ей в голову против всех; ее связи не нравятся императрице; я хотела сказать ей правду, но не смею больше к этому возвращаться, мне не доверяют”. Я старалась ухаживать за матерью, как только могла, и, казалось, она смягчилась ко мне, но больше ни ногой не бывала в моей комнате» (65–66).

Этот эпизод во второй редакции существенно отличается от того, который изложен в первой. «Утром <...> девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке; я тотчас побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на матрасе, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею, она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся четыре раза и на обеих руках и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь ни того даже, что это ей было нужно; однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой. Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту объяснила. Я ходила несколько раз в день в покои матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость...» (231–232).

Послушная дочка и мать-деспот.

В первой редакции приводится еще такой эпизод, аналогии которому во второй редакции нет. «Однажды, когда в покоях императрицы я беседовала некоторое время с графом Петром Шуваловым, жена которого была в большой милости у императрицы, мать, вернувшись со мной к себе в покои, сделала мне сильный выговор за эту беседу, говоря, что я ласкаю ее заклятых врагов. Я старалась оправдаться и могу клятвенно подтвердить, что я не знала этого о графе Шувалове и вовсе не знала всех каверз, какие были, и всего, что происходило» (66).

Весьма показательное сопоставление двух редакций описания эпизода, который имел место в Петергофе. Согласно первой редакции, «однажды вечером после ужина, я взяла своих женщин и придворных дам и прогуляла до часу по полуночи. Когда я вернулась, Шенк (горничная

Екатерины. — *М.С.*), оставшаяся дома, сказала мне, что мать приходила в мою комнату и что она меня искала. Я хотела сначала пойти к ней, но мне сказали, что она уже легла и заснула. На следующее утро, как только я встала и она проснулась, я побежала к ней; я нашла ее в страшном гневе против меня за то, что я так поздно загулялась. Она меня стала упрекать как никогда, чего, по истине, я не заслуживала; я просила ее выслушать меня, но в своем гневе она подозревала гадости, на которые я не была способна; я ей клялась всем, что только есть наиболее святого, что приходила в ее комнату, дабы сказать ей, что иду гулять, но, видя, что она вышла (она ужинала у принца Гессенского на даче), я взяла своих женщин всех вместе, что мы гуляли по саду, что с нами не было ни одного мужчины, даже камердинера. Все это была сущая правда; я просила ее расспросить всех тех, которые участвовали, и уверяла, что она увидит, что я не обманывала ее ни на йоту. Несмотря на все это, гнев матери был так велик, что она даже не хотела дать мне поцеловать руку, в чем никогда в жизни она мне не отказывала, кроме этого единственного случая. Я рассказала на следующий день всю эту историю великому князю, который не усмотрел ничего дурного в моем поступке; да и, действительно, этого не было, но может быть, только самый час этой прогулки не нравился матери или, зная характер императрицы, очень снисходительной к себе самой и более строгой к другим, она боялась, чтобы подобные шалости не повредили мне в ее мнении» (67–68).

Итак, необоснованный гнев матери вызван ее опасением за дочь из-за несправедливой императрицы. Иоганна Елизавета в конечном счете беспокоится о судьбе дочери.

Вот как выглядит этот эпизод во второй редакции. «Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно — к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским. Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом и одна из дверей туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне нетрудно было их убедить; нас было восьмеро, мой камердинер девятый и двое других лакеев, которые следовали за нами; мы прогуляли до полуночи самым невинным образом; когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, верну-

лась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить, и так как было очень поздно и она очень устала дожидаться меня, то она легла; я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня; она уверяла, что не нашла бы нас. Но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побранить; я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели; я хотела подойти, чтобы поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бранить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения. Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным, и не знаю, чего только она не выдумала, чтобы огорчить меня, вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам; но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшая на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покои великого князя. Я сказала ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что казалась вне себя. Хотя я встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах; в час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх в покои великого князя, который спросил, что со мною, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло; он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках; я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась» (234–236).

Нетрудно заметить, что здесь в отличие от первой редакции в эпизод введена интрига горничной Шенк, но мать Екатерины представлена совершенным деспотом, не только не заботившимся о благе дочери, а руководившимся собственными капризами. Насколько описанные сцены далеки от реальной действительности, хорошо видно из того факта, что в первой редакции говорится, что в девичьей компании не было ни одного мужчины, даже камердинера. Во второй же сообщается, что он сопровождал девушек во время прогулки, кроме того, там было еще два лакея. Из этого нетрудно заключить, сколь мало можно доверять Екатерине, которая извлекает факты из своего писательского воображения в зависимости от того, какого читательского эффекта хочет достичь.

Ряд фрагментов первой редакции рисуют Иоганну Елизавету как нежную и заботливую мать. Накануне свадьбы, пишет Екатерина, «вечером мать пришла ко мне и имела со мною очень длинный и дружес-

кий разговор: она мне много проповедовала о моих будущих обязанностях; мы немного поплакали и расстались очень нежно» (69). После свадебных торжеств «начали говорить об отъезде матери. Со свадьбы мое самое большое удовольствие было быть с нею, я старательно искала случаев к этому, тем более что мой домашний уголок далеко не приятен» (74). «Когда я не могла видеть матери, к посещению которой, кстати, великий князь выказывал большое отвращение, я в своей комнате вооружилась книгою <...> Мать приходила иногда провести у меня вечер, и тогда я бы многое дала, чтоб иметь возможность уехать с нею из России» (75). Перед отъездом «у матери был длинный разговор с императрицей; Бог весть, о чем они между собой говорили; я ничего не узнала, кроме того, что получила разрешение императрицы посещать ее уборную, т.е. сидеть, сколько мне будет угодно, утром около полудня или вечером в пять-шесть часов с ее горничными. Так ее величество не всегда выходила в эту комнату; все же разрешение было своего рода милостью...» (77).

Ничего подобного во второй редакции нет. Как раз наоборот. Рассказав о равнодушии великого князя, Екатерина сообщает: «Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно, но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день; в душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом» (233). Правда, мемуаристка признает, что после свадьбы она мать «не каждый день видела» и та «очень смягчилась по отношению ко мне в это время» (237).

Зато чего стоит эпизод, связанный с приездом в Россию принца Августа Голштинского, в первой редакции, конечно же, отсутствующий. «Через несколько времени после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить свое желание приехать в Россию; мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель получить при совершеннолетию великого князя, которое хотели ускорить, управление Голштинией, иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего Шведским наследным принцем, чтобы вручить управление Голштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и Шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной Шведскому наследному принцу голштинской партией в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал вверх над Датским наследным принцем, которого далекарлийцы хотели избрать наследником Шведского престола. Мать ответила принцу Августу, ее брату, из Козельца, что вместо того, чтобы

подаваться интригам, заставляющим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под врагами мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюмеру и всем остальным друзьям Шведского наследного принца, опекуна великого князя по Голштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против Шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем как мать в глазах друзей хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого было то, что, не обращая внимание на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей голштино-шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Голштинского приехать в Петербург. Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду; впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему: он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость — раз уж пошло на чистоту — ее брата очень сердила мать; словом она была в отчаянии от его приезда. Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом нескольких зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюмера, как и он; принц Август тоже его не любил, потому что он был предан Шведскому принцу. Под предлогом родства и как голштинец, этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Голштинии и беседуя об его будущем совершеннолетия, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить это совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из Баварского дома; но тут он умер. И это дело тянулось до избрания Франца I. Так как принц Август был еще довольно плохо принят моей матерью и выражал

ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то небольшое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней» (225–227).

Одним словом, малопривлекательный получается портрет матери. Тут же ей противопоставляется портрет дочери. Вначале рассказывается, как в отличие от матери она сумела достичь расположения и доверия великого князя (хотя это было далеко не легко), а затем сообщается: «Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или по крайней мере уменьшить недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считала меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества» (228–229).

Вот уж во истину опровержение поговорки: «Яблоко от яблони...».

Заключительный эпизод пребывания Иоганны Елизаветы в России связан с удалением камер-юнгферы Екатерины Марии Жуковой. Дело заключалось в следующем. Когда Екатерина проводила мать, навсегда покинувшую Россию, она узнала, что императрица Елизавета удалила ее горничную М.П. Жукову, к которой великая княгиня была сильно привязана. Императрица «стала страшно поносить Жукову, говоря, что у нее были две любовные истории, что мать моя при последнем свидании, которое она имела с императрицей, убедительно просила ее величество удалить эту девушку от меня, что я по молодости привязалась к ней, но что эта девушка не достойна моей привязанности» (78). Екатерина недоумевала: «Я находила весьма необычным, чтобы мать просила императрицу удалить эту девушку, она, конечно, никогда ни слова не говорила мне насчет этой привязанности, хотя бранила меня нещадно и вполне искренне всякий раз, когда думала, что я заслуживаю этого, а если бы мать мне об этом сказала, то я в силу привычки ей повиноваться, наверное, посбавила бы пылу. Я никогда не узнала, действительно ли мать просила ее императорское величество; я сочла долгом усомниться в том, так как я не знаю, зачем было матери причинять мне столь гласное огорчение и ставить меня в такое положение перед императрицей, когда она могла бы все прекратить одним только словом. С другой стороны, верно, что мать моя показала холодность к этой девушке, но можно было ду-

мать, что это происходит от того, что мать моя не могла с ней разговаривать, так как эта девушка знала только по-русски. Может быть, удивится, что я сомневаюсь в том, что говорила императрица; на это я только могу ответить, что опыт научил меня быть настороже относительно того, что высказывала эта государыня в гневе» (78–79).

Не подлежит сомнению: Екатерина здесь дает понять, что в этой несправедливости виновата императрица, самодур и деспот, мать же оказывается оклеветанной своенравной государыней.

Во второй редакции наблюдается иная картина. Елизавета заявила Екатерине, что она удалила от нее Жукову по просьбе матери великой княгини, «потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком сильно к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала поносить Жукову с заметной злобой». Екатерина недоумевала. «Мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла только полагаться на вздорные рассказы Шенк, у которой даже не было здравого смысла <...> Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу; если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки; а между тем одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтобы остеречь меня против этой привязанности, в конце концов очень невинной...» (237–238).

Виноватой оказывается мать, хотя «вина» никак не подтверждена. Она полагалась на рассказы служанки и «рта не открыла», чтобы предостеречь дочь, предпочла насильственные меры мирным!

Как это не похоже на ту заботливую Иоганну Елизавету, которая действует в первой редакции в интересах собственной дочери!

Нетрудно заметить, что образ положительной во всех отношениях дочери создается за счет контраста с отрицательным персонажем, роль которого отводится матери.

Усилия мемуаристки не пропали даром. Облик, слепленный в последней редакции, отпечатался в сознании потомков. В 1859 г. Герцен обнаружил текст последней редакции и как бы освятил своим авторитетом образ Екатерины и ее матери. С тех пор именно этот образ Екатерины, ею самой представленный, вошел в литературу. В.А. Бильбасов, автор наиболее обстоятельной биографии Екатерины до ее воцарения и поныне остающейся самым полным собранием фактического материала, сделал этот облик почти каноническим. Все последующие исследователи в общем-то шли по пути, проложенным Бильбасовым. Академическая публикация первой редакции «Записок», осуществленная

А.Н. Пыпиным, поставила много вопросов, но не изменила образа Екатерины, нарисованного ею самой в заключительной редакции. Он лишь слегка подправлялся, уточнялся, углублялся на основе данных из других редакций, но в основе своей оставался неизменным⁸. То же следует сказать и об образе Иоганны Елизаветы. Впрочем, эта женщина сама по себе не представляла большого интереса, потому что ее историческая роль исчерпывалась тем, что 21 апреля 1729 г. она произвела на свет будущую российскую императрицу. Но то, как Екатерина II использовала образ матери в своих мемуарах, чрезвычайно важно для характеристики самой императрицы. Екатерина-мемуаристка возвышала себя за счет унижения матери. Это и есть одна из важнейших черт императрицы как политического деятеля, не брезговавшего ничем, для того чтобы достичь поставленной цели.

Примечания

¹ Сафонов М.М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002. С. 7–9.

² Записки императрицы Екатерины Второй. М., 1989. Далее в тексте даются ссылки на это издание только указанием на страницы.

³ Сафонов М.М. Ангальт-Цербстская девственница // Технология власти. СПб., 2005. С. 210.

⁴ Сафонов М.М. Большой двор против Малого // Российский императорский двор и Европа: Диалоги культур: Избранные материалы конференции, состоявшейся 18–20 октября 2006 г. в Государственном Эрмитаже. СПб., 2007. С. 96–97.

⁵ Сафонов М.М. Ангальт-Цербстская девственница... С. 211.

⁶ Сафонов М.М. Большой двор против Малого... С. 98.

⁷ Сафонов М.М. «Молодая Екатерина» в отечественной историографии // Мавродинские чтения 2004. СПб., 2004. С. 46–47.

⁸ Там же.